

Моему папе Руфиму Николаевичу,  
каторжнику,  
строителю коммунизма  
и Беломоро-Балтийского канала, отцу шестерых детей и  
просто прекрасному человеку, *посвящаю.*

## ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ

...Туман был живым и ласковым. Белёсой пеленой он укрывал уснувшую деревню. Вылизывал корни и стволы ближайшего елового леса. Лениво шевелясь, сползал к прозрачному, звонко болтающему ручью.

В мире царили ночь, покой и нега.

Лишь в одном из домов желтели окна, да за пахнущими уютom и теплом стенами всхлипывала гармонь.

Был август. Было детство.

### 1.

Пашке почти семь. Маленький, плотный и шустрый, будто сделан он не из плоти и крови, а сплошь из вселенской энергии. И глаза у него – огромные, тёмные, с жадностью впитывающие в себя огромный и неразгаданный мир.

Много ли надо для счастья в его возрасте? Чтобы папа с мамой любили, чтобы не обижали старшие, да летний ветерок, да солнце, да ручей, в котором столько мальков и за которыми так интересно подсматривать.

А ещё запах скошенной, уложенной на повети травы, где здо-

рово просто поваляться и помечтать.

Ещё с вечера он долго ходил за матерью, выклянчивая такую возможность. Наконец та сдалась.

Подхватив старое отцовское пальто, Пашка взлетел по некрашенной лестнице, забился под самую крышу, свил себе сенное гнёздышко и теперь с восторженным любопытством прислушивался к звукам августовской ночи. Казалось, что в уснувшем ночном мире существовала какая-то щекочущая тайна. Тайна, которую обязательно нужно было разгадать.

Во дворе, шумно печалась, вздыхала корова. Под крышей шебуршала ласточка.

А где-то далеко, на том конце деревушки, рвалась к небу грустная мелодия. Завораживающая и мучительно прекрасная.

Пашка полежал ещё немного и вдруг, решившись, скатился по сенному сугробу.

Деревня спала. В затопленном туманом поле размеренно поскрипывал коростель. Бледная чёрточка далёкого горизонта оттеняла, словно вымазав в саже, рваные силуэты яблонь, крыши домов, колодезный ворот, торчащий из се-

ребристо-серого сруба, и графически прочерченные пики и впадины дальнего леса.

Пашка нерешительно и зябко поёжился. Было немножко боязно. Трава обжигала росой и холодом так, что он уже почти передумал, страшась маминой выволочки. И уже почти шагнул обратно.

Но в это время мелодия, тихая и ласково-печальная, замолкла. Собиралась с силой. И вдруг, перечёркивая всё, что было до этого, рванула к небу. Заставив замолкнуть дергача, пугая расслабленную луну и снова, с тоскующей настойчивостью зовя Пашку к себе.

## 2.

Гуляли у Новожиловых. В распахнутом настежь окне обессилено висела застиранная занавеска. Застольные голоса то громче, то тише плескались где-то там, в тёплой утробе приземистой избы.

Нырнув в полуоткрытую калитку и затаившись под растущей у окна сиренью, Пашка заглянул внутрь, но разглядеть так ничего и не успел. Сзади на плечо легла тяжелая ладонь.

– Подсматриваешь?

Пашка вздрогнул, напрягаясь от ужаса, и повернулся. Над ним, снисходительно усмехаясь, стоял сосед – дядя Витя.

– Нехорошо подсматривать! А ну-ка, пошли!

Пашка заупирался, пытаясь сбросить помеху, но... не тут-то было. Рука держала стально и поккапканному прочно.

Этот, ночной дядя Витя, был совсем не похож на того, которого знал мальчик. От этого пахло вином и махоркой. В полутьме прорисованные на загорелом до

чёрноты лице лишь насмешливо светились глаза, да сияли крепкие зубы.

– Вот, соглядая привёл! – дядя Витя вытолкнул перепуганного парнишку на середину избы.

От яркого света стало больно глазам, но Пашка успел заметить главное – за столом сидели папа и мама.

– Ты бы, Рафка, – дядька Витя подтолкнул мальчишку к отцу, – с ним поостроже! А то вырастет, не к ночи будь сказано, комсомольским активистом!

Застолье напряженно замерло.

– Виктор, со словами-то ты поосторожней! – поостерегла сидящая рядом с отцом тётка Сима. – Да и мальчика отпусти! Перепугал до смерти!

Пашка освободившись от цепкой хватки тюремщика рванул к отцу, без спроса забрался на колени и с облегчением прижался к колючей отцовской щеке.

– От тюрьмы да от сумы! – со злым отчаяньем отбрыкнулся дядя Витя. – Помолчи, Симка! Гуляем,

пока гуляется! Давай-ка, Миша, нашу!

Только сейчас Паша увидел незнакомого худошавого мужика, сидящего у края стола. Был он седой, угловатый, сгорбленный и какой-то зажато-нескладный. Будто в теле взрослого человека жил маленький, смущённый чужим вниманием человек. Совсем как

Пашка сейчас.

Через всё Мишино лицо, наискось, был пропахан тёмно-лиловый бугристый шрам. Миша бережно взял гармонь, махом выпил стопку водки, морщась, вытер рукавом губы и вдруг, окончательно погрузнев, отрезая себя от всего, что его окружало, запел со слезой в голосе:

– Будь проклята ты, Колыма,  
Что названа чудом планеты!  
Сойдёшь поневоле с ума,  
Отсюда возврата уж нету!

Пел гармонист. Пели, утопая в махорочном дыму и сивушном запахе, люди. Пели с отчаянием и болью, а казалось – будто и не пели вовсе, а брели куда-то в сырую, обледенелую ночь скомканными, нестройными рядами.

Звуки гармони, Мишин голос, смешиваясь, бились в отчаянии о стены притихшего дома, рождая в Пашиной душе совсем недетскую тоску.

Казалось, это он сейчас, несчастный и всеми забытый, плыл по злой чужой воле в неизвестность. Куда-то туда, где не было ничего, кроме снега и безжалостного холода. И никто его не ждал. И не было впереди любви, жизни, папы с мамой, а был только снег да жестокий ледяной ветер.

Стало безмерно жалко бесприютных людей, стонущих в проржавевшей коробушке идущего на край света корабля.

Жалко себя, сидящих за столом деревенских, друзей, соседей. Всех-всех!

Он ещё крепче прижался к небритой папиной щеке и заплакал. Отец гладил его по голове, нашептывая что-то.

Но Пашка не слышал.

Сейчас в нём жила, билась только мелодия, только чужая тоска управляла его чувствами и эмоциями. Это было больно и прекрасно одновременно.

Наконец, наплакавшись и успокоившись, медленно и счастливо осознав себя в тёплой, почти родной избе Новожиловых, Пашка уснул у отца на коленях.

### 3.

Проснулся Пашка потому, что поселившийся на щеке солнечный зайчик упрямо лез прямо в курносую пашкину картофелину. Он не сдержался и чихнул.

– Проснулся, гулёна? Вставай да умывайся! А то отец устал уже дверь держать! Невесты прут и

прут! Со всей округи сбежались! – рассмеялась мама, садясь рядом и принимаясь щекотать Пашку.

Пашке это нравилось и не нравилось одновременно. Он засопел, будто бы разозлившись, нетерпеливо завертелся, выskalзывая из маминих рук, и с укором буркнув:

«Ну, мама!» (Пусть мама знает, что он уже большой и скоро, совсем скоро пойдёт в школу!), побежал за печь, к умывальнику.

Дома сладко пахло пирогами. За столом на кухне среди развала капустников, рыбников и рогул сидели, о чем-то беседуя, папа и вчерашний незнакомец, гармонист Миша.

Сейчас, когда солнце ярко освещало всё окружающее, Мишин шрам и его седина были особенно видны. Пашка, сам того не замечая, упёрся взглядом в эту бело-лиловую отметину, повторяя наклон Мишиной головы и его мимику. Гармонист наклонит голову, и Пашка, неосознанно, но старательно подражая, наклонит свою. Гость растерянно улыбнётся, и Паша – тоже.

Отец заметил игру:

– Да вы, я смотрю, подружились!?

– Отчего ж не подружиться-то! – ответил за обоих Миша.

– И знаете, как кого зовут?

– Нет, этого не знаем!

– Тогда знакомьтесь! Это Пашута! – отец взял Пашку за подмышки и посадил к себе на колени. – А это – дядя Миша!

Сейчас, дома, рядом с папой и мамой Пашка до макушки был заполнен любопытством. Даже пирогов не хотелось.

– Дядя Миша, а это у тебя что?

– Пашка, всё ещё немного стесняясь, провёл пальцем по собственной щеке.

– Это, Пашута, собачка тяпнула! Бо-о-о-льшая собачка!

– Больно было? – посочувствовал Пашка.

Ему и вправду было жалко дядю Мишу.

Гость усмехнулся. Странно как-то. Будто бы не для Пашки, а

для самого себя. И глаза снова, как вчера в доме Новожиловых, стали задумчивые, грустные и слегка растерянные.

– Любопытной Варваре, знаешь, что оторвали? – ответил он, шутливо хватая мальчика за нос. – Давай-ка я лучше на гармошке сыграю! Плясать умеешь?

Дядя Миша взял гармонь, приспособил на плече ремень и с какой-то отчаянной тоской рванул меха:

– Наливай, Рафка!

И сразу:

– Мы не сеем и не пашем,

А валяем дурака!

С колокольни х... машем –

Разгоняем облака!

Ох, и что только не вытворяли Мишины пальцы! Как они летали по кнопочкам! Казалось, ещё немного – в узел завяжутся. И никогда-никогда их не распутать. А ладонь то вверх, то вниз, то вверх, то вниз!

А на тыльной стороне ладони мутный, расплывчатый рисунок. Солнце, с надеждой выглядывающее из-за мрачной тучи, и голубь с почтовым конвертом в клюве.

И почти никто не знал, как много могла бы рассказать эта ладонь. Ладонь цвета морёной ольхи. Умей она откровенничать – и лопату бы вспомнила, и кайло, и тяжёлый стальной молот, и десять лет лагерей под Вытегрой, и строительство Беломор-канала. И как закрывала она Мишино лицо, когда тот отпинавался от озверевших лагерных овчарок, тоже, наверняка, рассказала бы. Вот только разговаривать она не умела.

Но она умела летать! По кнопочкам. Живя в этот миг независимо от хозяйской воли. И как она летала!

И посуда позвякивала в такт мелодии. И глаза папы, мамы и дяди Миши сияли каким-то незнакомым, отчаянно радостным светом. И пальцы, грубые, но необыкновенно лёгкие, так и метались по кнопкам, словно отчаянно что-то искали, но так и не находили. И кружила мелодия, и куражилась, и плакала, и смеялась над нескладными человеческими судьбами, и звала куда-то, звала!

У Пашки аж дух захватило! Он сидел, зачарованно глядя перед собой, ничего и никого вокруг не замечая. Его не было. Он весь, без остатка, растворился в этом драчливом бытстве.

Наконец мелодия оборвалась. Стало тихо-тихо. Только ходики на стене не успокаивались и всё шептали своё: «Тик-так! Тик-так! Тик-так!»

Пашка встал, взял со стола рогульку и молча, не обращая внимания на удивлённые взгляды взрослых, вышел на улицу. Он всё ещё находился там, в мире, состоящем из ярких цветных пятен и гипнотизирующих звуков. Он знал, чувствовал, что когда-нибудь сможет играть точно так же. Даже лучше. Вот только гармошки у него не было.

Он прошел в сарай и, отпилив кусок бруса, неумело приколотил

к нему с разных сторон два обрезка доски. Затем, послунявив отцовский химический карандаш, нарисовал кнопки и, бережно обхватив шершавую конструкцию, присел на берёзовую чурку.

Ждать не пришлось. Уже через мгновение, сначала будто издали, а потом – совсем рядом, завертелась шальная мелодия. И неважно, что звучала она только для Пашки. И неважно, что ещё не огрубевшие, робкие пальцы скользили, спотыкаясь, по неструганой доске.

Мелодия жила, билась, плескалась и настойчиво звала куда-то в другой, незнакомый и прекрасный мир. Пашка вздохнул поглубже и вдруг, неожиданно для самого себя, хрипловато запел, подражая взрослым.

С проматуюжкой и отчаянным притопыванием.

А потом ещё!...И ещё! И ещё!

Забывая о стеснительности. О том, что ему всего лишь неполных семь. О том, что сидит он в дощатом сарае на полусгнившей берёзовой чурке.

Его не было. А было только солнце, небо да рвущаяся в облака мелодия. Летящая где-то там, высоко-высоко, рядом с нечаянным розовым облачком.

И ничего больше...

